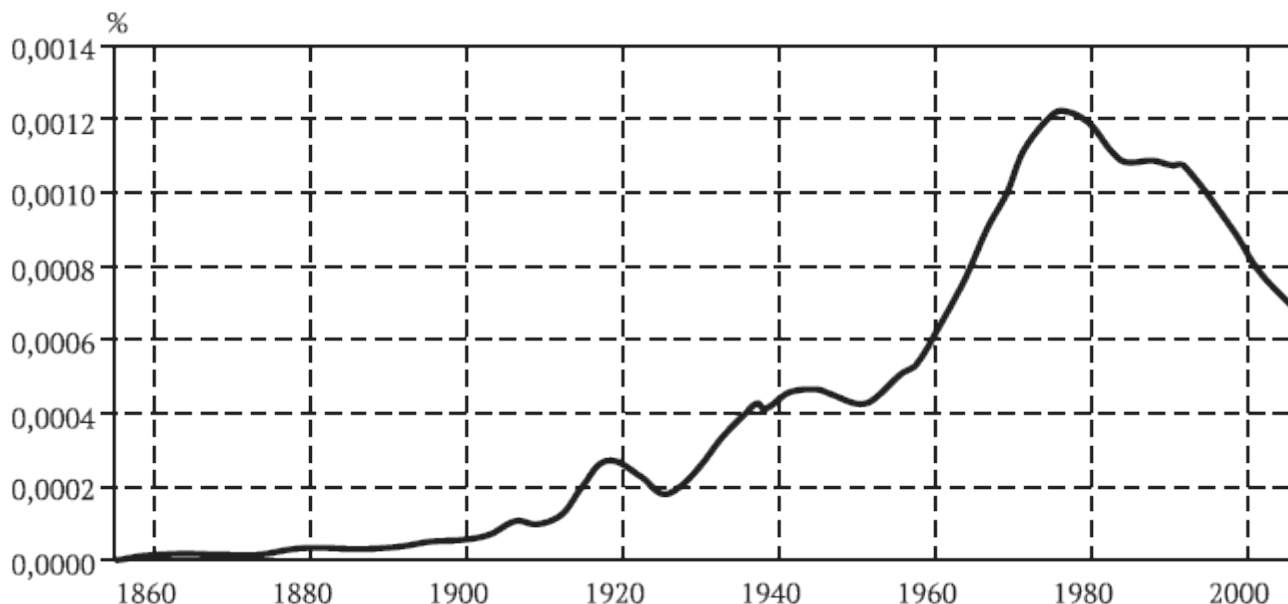


Введение. Железный закон либерализма и эра тотальной бюрократизации

Сегодня о бюрократии никто особо не говорит. Но в середине прошлого века, особенно в конце 1960-х и в начале 1970-х годов, это слово звучало повсюду. Издавались социологические труды с громкими названиями вроде «Общая теория бюрократии»¹, «Политика бюрократии»² или даже «Бюрократизация мира»³ и популярные книги, как, например, «Закон Паркинсона»⁴, «Принцип Питера»⁵ или «Бюрократы: как им досаждать»⁶. Выпускались кафкианские романы и сатирические фильмы. Казалось, все считали, что нелепость и абсурд бюрократической жизни и бюрократических процедур представляли собой одну из определяющих черт современного существования, а значит, были более чем достойны обсуждения. Однако начиная с 1970-х годов внимание к этой проблеме стало угасать.

Взять, к примеру, следующий график (рис. 1), показывающий, как часто слово «бюрократия» употреблялось в книгах, написанных на английском языке за последние полтора столетия. Интерес к этому явлению был весьма ограниченным до конца Второй мировой, затем резко усилился в 1950-е годы и, достигнув пика в 1973 году, стал медленно, но верно ослабевать.

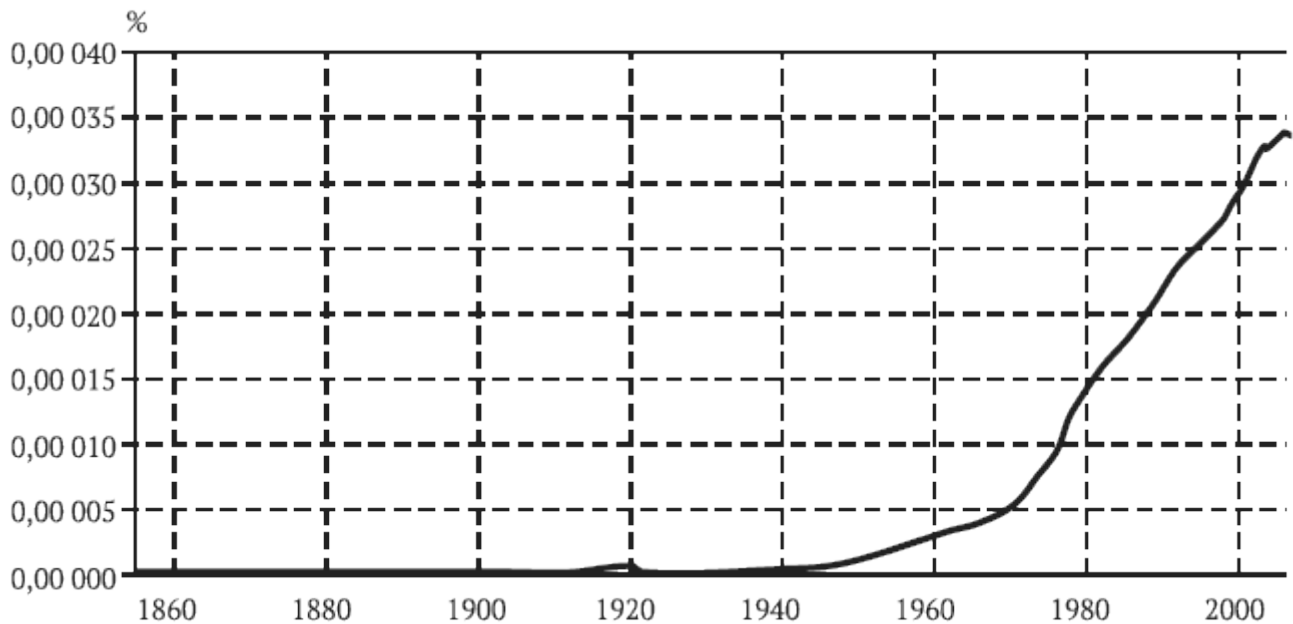
Рис. 1. Бюрократия



Почему? Одна из очевидных причин заключается в том, что мы попросту привыкли. Бюрократия стала той средой, где мы обитаем. Теперь представим другой график (рис. 2), отражающий среднее количество часов, которое обыкновенный американец, англичанин или житель Таиланда провел за заполнением анкет или выполнением прочих исключительно бюрократических обязанностей (разумеется, теперь в большинстве случаев настоящая бумага уже не требуется). Кривая этого графика чем-то похожа на ту, что мы видели выше – до 1973 года она медленно ползет вверх. Но после этой даты графики отличаются друг от друга: линия не только не идет вниз, а, наоборот, продолжает стремиться ввысь; более того, она растет резко, показывая, что в конце XX века представители среднего класса тратили еще больше времени на борьбу с автоответчиками и веб-интерфейсами, а те, кому повезло меньше, преодолевали все более изощренные препятствия, пытаясь получить доступ к социальным услугам.

Я представляю этот график вот так:

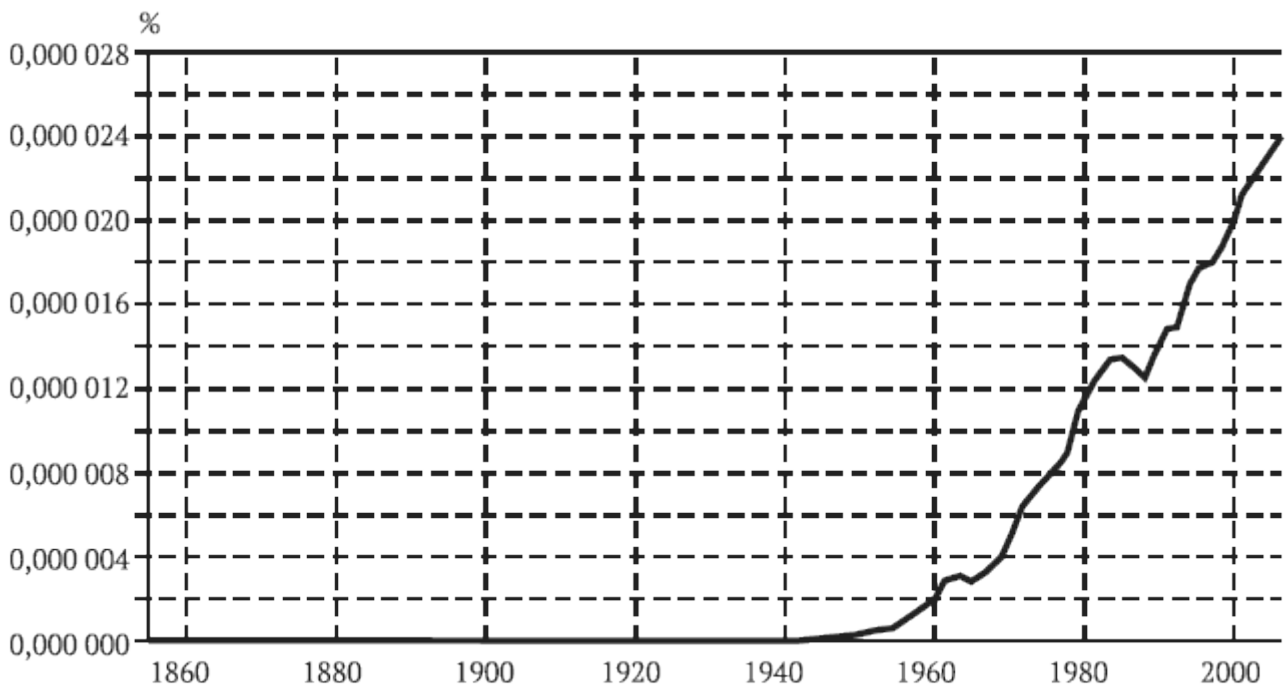
Рис. 2. Бумажная волокита



Эта статистика показывает не количество часов, потраченных на бумажную волокиту, а всего лишь частоту использования словосочетания «бумажная волокита» в англоязычных книгах. У нас нет машины времени, которая позволила бы нам провести более точные исследования, поэтому мы должны довольствоваться тем, что имеем.

Кстати, термины, максимально близкие к «бумажной волоките», демонстрируют почти такие же результаты (рис. 3):

Рис. 3. Оценка эффективности



Все очерки, собранные в этой книге, так или иначе посвящены этому несоответствию. Мы больше не думаем о бюрократии, но она определяет каждый аспект нашего существования.

Будучи планетарной цивилизацией, мы словно решили хлопать в ладоши или мычать всякий раз, когда о ней заходит речь. Даже если мы и готовы говорить о бюрократии, то по-прежнему используем термины, бывшие в ходу в 1960-е и в начале 1970-х. Общественные движения 1960-х годов являлись в целом левыми по духу, но они еще и бунтовали против бюрократии или, если выразиться более аккуратно, выступали против бюрократического мышления, против разрушающей душу покорности, царившей в послевоенных государствах всеобщего благоденствия. Перед лицом серых чиновников капиталистических и социалистических государств бунтари 1960-х отстаивали свое право на личностное самовыражение и на спонтанное веселье и боролись («Правила и нормы – да кому они нужны?»[1]) с любой формой социального контроля.

С крахом старых государств всеобщего благоденствия все это стало казаться откровенным чудачеством. По мере того как язык антибюрократического индивидуализма все более агрессивно перенимали правые, настаивающие на «рыночных решениях» всех социальных проблем, левый мейнстрим все чаще вел довольно жалкие арьергардные бои, пытаясь спасти остатки старого социального государства; пусть и неохотно, но левые смирились с попытками – а зачастую даже выступали их инициаторами – повысить «эффективность» усилий правительства за счет частичной приватизации услуг и прививания структуре самой бюрократии все более «рыночных принципов», «рыночных стимулов» и рыночных «бухгалтерских процессов».

Результатом стала политическая катастрофа – по-другому и не скажешь. То, что представляется как «умеренно» левое решение любой социальной проблемы (а радикально левые решения теперь почти повсеместно отменяются), неизбежно превращается в кошмарную мешанину худших элементов бюрократии и капитализма. Как будто кто-то осознанно попытался выработать наименее привлекательную политическую программу. Об устарелости левых идеалов свидетельствует факт, что никому бы и в голову не пришло поддержать на выборах партию, которая выступала бы за нечто подобное – если за это кто-то и голосует, то, разумеется, не потому, что считает такую политику правильной, а потому, что это единственная политика, которую позволено отстаивать тем, что относит себя к левоцентристам.

Стоит ли тогда удивляться тому, что всякий раз, как наступает социальный кризис, именно правые, а не левые становятся выразителями народного гнева?

У правых, по крайней мере, имеется критика бюрократии. Не очень продуктивная. Но она хотя бы существует. У левых ее нет. И когда те, кто считают себя левыми, не могут сказать о бюрократии ничего плохого, они вынуждены принимать выхолощенную версию критики правых⁷.

Критику правых можно изложить довольно кратко. Ее истоки восходят к либерализму XIX века⁸. Та версия истории, что сложилась в кругах европейского среднего класса после Французской революции, гласила, что в цивилизованном мире происходил постепенный,

неравномерный, но необратимый переход от господства военной элиты с его авторитарными правительствами, религиозными догмами и стратификацией, близкой к кастовому делению, к свободе, равенству и просвещенному торговому личному интересу. В Средние века купеческие классы, словно термиты (ну да, термиты, только полезные), подточили старый феодальный порядок снизу. Согласно либеральной версии истории, пышность и великолепие абсолютистских государств, что тогда ниспровергались, являлись последними пережитками старого порядка, которому должен прийти конец, когда государства дадут зеленый свет рынкам и научному пониманию религиозной веры, а жесткие порядки и титулы маркизов и баронесс уступят место свободным сделкам между индивидами.

Становление современной бюрократии в этой истории всегда представляло определенную проблему, потому что не очень хорошо в нее вписывалось. В принципе, насупленные чиновники с их длинными цепочками управления являлись простым феодальным пережитком и вскоре должны были последовать за офицерами и армиями, которые, как все ожидали, тоже со временем станут ненужными. Достаточно просто полистать русские романы конца XIX века: все отпрыски старых аристократических семейств – то есть на самом деле почти все персонажи этих книг – становились либо армейскими офицерами, либо государственными служащими (ни один мало-мальски значимый герой ничем другим не занимался), а в военной и в гражданской иерархиях были почти одинаковые ранги, звания и менталитет. Но существовала одна очевидная проблема. Если бюрократы являлись просто пережитком, то почему тогда повсеместно – не только в такой глуши, как Россия, но и в быстро развивавшихся промышленных странах вроде Англии и Германии, – их с каждым годом становилось все больше?

Далее появляется еще одно утверждение: бюрократия по сути своей представляет собой врожденный порок демократического проекта. Самым видным выразителем этой мысли был Людвиг фон Мизес⁹, австрийский аристократ в изгнании. В 1944 году он выпустил книгу «Бюрократия», в которой утверждал, что правительственные системы по определению не могут организовывать информацию так же эффективно, как безличные рыночные ценовые механизмы. Тем не менее предоставление права голоса проигравшим в экономической игре неизбежно оборачивается призывами к правительственному вмешательству, которое рисуется благородным инструментом, позволяющим решить социальные проблемы административными методами. Фон Мизес был готов признать, что многие сторонники подобных решений действуют из лучших побуждений, однако их усилия только усугубляют ситуацию. Действительно, он считал, что они окончательно уничтожат политическую основу самой демократии, потому что администраторы социальных программ неизбежно будут объединяться и получат намного большее влияние, чем победившие на выборах политики, руководящие правительством, и станут поддерживать еще более радикальные реформы. Фон Мизес утверждал, что социальные государства, формировавшиеся в те годы в таких странах, как Франция или Англия (не говоря уже о Дании или Швеции), через одно-два поколения неизбежно придут к фашизму.

С этой точки зрения рост бюрократии стал ярким примером того, как благие намерения оборачиваются кошмаром. Возможно, наиболее емко эту мысль выразил Рональд Рейган в своей знаменитой фразе: «Девять наиболее страшных слов в английском языке: “Я из

правительства и я здесь, чтобы помочь вам”».

Проблема в том, что все это очень слабо связано с тем, что происходило на самом деле. Прежде всего, исторически рынки не возникли как некое пространство свободы, не зависимое от государственных властей и противостоящее им. Все было ровно наоборот. Изначально рынки появлялись как побочный эффект от действий правительства, особенно военного характера, или же непосредственно создавались руководящей верхушкой. Так было, по крайней мере, с момента начала чеканки монет, изначально применявшихся для снабжения солдат; на протяжении большей части истории Евразии обычные люди использовали неформальные кредитные соглашения, а физические деньги, золото, серебро, бронза и тот вид безличных рынков, который они сделали возможным, были в основном приложением к мобилизации легионов, разграблению городов, взиманию дани и захвату добычи. Современные центральные банки тоже были созданы для финансирования войн. Так что в традиционной версии истории фигурирует изначальная проблема. Но есть и еще одна, даже более драматичная. Мысль о том, что рынок в определенном смысле независим от правительства и противостоит ему как минимум с XIX века, служила оправданием либеральной экономической политики, направленной на сокращение роли правительства, но на деле это так не работало. Английский либерализм, например, привел не к снижению доли государственной бюрократии, а ровно к противоположному результату, то есть к бесконечному разбуханию армии конторских служащих, регистраторов, инспекторов, нотариусов и полицейских чиновников, которые сделали возможным осуществление либеральной мечты о мире свободных сделок между самостоятельными индивидами. Оказалось, что поддержание рыночной экономики требует в тысячи раз большей бумажной волокиты, чем абсолютная монархия в стиле Людовика XIV.

Этот парадокс, состоящий в том, что политика правительства, направленная на снижение его вмешательства в экономику, в конечном итоге ведет к большему регулированию и увеличению числа бюрократов и полицейских, можно наблюдать настолько часто, что, на мой взгляд, мы вполне можем считать его общим социологическим правилом. Предлагаю называть его Железным законом либерализма:

“ **Железный закон либерализма** гласит, что всякая рыночная реформа, всякое правительственное вмешательство с целью уменьшить бюрократизм и стимулировать рыночные силы в конечном итоге приводят к увеличению общего объема регулирования, общего количества бумажной волокиты и общего числа бюрократов, которых привлекает на службу правительство.

На заре XX века эту тенденцию отметил французский социолог Эмиль Дюркгейм¹⁰, и в дальнейшем игнорировать ее стало невозможно. К середине столетия даже критики из числа правых вроде фон Мизеса были готовы признать – по крайней мере, в своих научных работах – что на самом деле рынки не регулируют себя сами и что для поддержания функционирования любой рыночной системы необходима целая армия администраторов (по фон Мизесу, такая армия становилась проблемой лишь тогда, когда ее использовали для корректировки действия рыночных сил, обрекая тем самым на излишние страдания бедных)¹¹. Однако вскоре правые популисты осознали, что, вне зависимости от реального

положения дел, критика бюрократов почти всегда дает хорошие результаты. Поэтому в своих публичных выступлениях они неустанно клеймили тех, кого губернатор и кандидат в президенты США Джордж Уоллес в ходе предвыборной кампании 1968 года назвал «очкастыми бюрократами», что живут за счет налогов, взимаемых с трудолюбивых граждан.

На самом деле Уоллес здесь – ключевая фигура. Сегодня американцы помнят его в основном как реакционера-неудачника или даже как ворчливого сумасшедшего: эдакий последний закоренелый сторонник сегрегации, стоящий у дверей школы с топором в руках. Но если посмотреть на его наследие шире, то его можно вполне представить и своего рода политическим гением. В конце концов, он был первым политиком, заложившим национальную основу для правого популизма, вскоре оказавшимся настолько заразным, что теперь, поколение спустя, им прониклись представители практически всех политических сил. В результате среди американских рабочих бытует расхожее мнение о том, что правительство составляют люди двух типов: «политики» – крикливые жулики и лжецы, которых хотя бы иногда можно снять с должности путем голосования, и «бюрократы» – снисходительные представители элиты, которых прогнать практически невозможно. Предполагается, что существует некий негласный союз между теми, кого стали считать бедными паразитами (в Америке их изображают в откровенно расистских тонах), и лицемерными чиновниками, такими же паразитами, чье существование зиждется на выплате пособий бедным за счет других людей. И вновь даже левый мейнстрим (или те, кого сегодня называют левыми) способен предложить лишь выхолощенную версию этого правого дискурса. Билл Клинтон, например, так долго критиковал государственных служащих, что после взрывов в Оклахома-Сити счел необходимым напомнить американцам, что служащие – тоже люди, и пообещал никогда больше не употреблять слово «бюрократ»¹².

В современном американском популизме – и в какой-то степени во всем остальном мире – есть только одна альтернатива «бюрократии», а именно «рынок». Иногда это означает, что руководить правительством нужно так же, как и управлять компанией. А иногда, что мы должны просто устранить бюрократов и вернуться к истокам, то есть дать людям жить, не сковывая их бесконечными правилами и предписаниями, которые им навязываются сверху, и позволить тем самым магии рынка выработать собственные решения.

Тем самым «демократия» стала означать рынок, а «бюрократия», в свою очередь, вмешательство правительства в деятельность рынка; именно такое значение это слово сохраняет и по сей день.

Так было не всегда. В конце XIX века становление современных корпораций в целом рассматривалось как вопрос применения современных бюрократических приемов в частном секторе – считалось, что эти приемы необходимы для ведения крупномасштабной деятельности, потому что они более эффективны, чем сети личных или неформальных связей, преобладавших в мире небольших семейных предприятий. Пионерами этой новой, частной бюрократии стали Соединенные Штаты и Германия, а немецкий социолог Макс

Вебер отмечал, что американцы его времени были особенно склонны видеть в государственной и частной бюрократиях одного и того же зверя:

“ Корпус чиновников, вовлеченных в «государственную» службу, наряду с соответствующим аппаратом материальных инструментов и бумаг составляет «бюро». В частной компании «бюро» часто называют «конторой»...

Особенность современного предпринимателя состоит в том, что он ведет себя как «первый чиновник» своей корпорации, точно так же, как правитель бюрократического государства эпохи модерна называл себя «первым служителем» государства. Мысль о том, что бюрократическая деятельность государства по своему характеру отличается от частных экономических контор, представляет собой понятие, присущее континентальной Европе, и при сравнении, оказывается совершенно чуждой американскому мышлению¹³.

Иными словами, на рубеже веков американцы не то чтобы сетовали на то, что правительством нужно руководить как частной компанией, а просто считали, что правительство и бизнес – во всяком случае, крупный – регулируются одинаково.

Действительно, на протяжении большей части XIX века экономика Соединенных Штатов состояла из небольших семейных фирм и крупного финансового капитала – как и экономика Великобритании в ту же эпоху. Однако выход США на международную арену в качестве великой державы в конце века отражал становление специфической американской конфигурации: корпорация – бюрократия – капитализм. Как отмечал Джованни Арриги, в это же время аналогичная корпоративная модель складывалась в Германии, и обе страны (и Соединенные Штаты, и Германия) провели почти всю первую половину следующего, XX столетия в борьбе за право занять место переживавшей упадок Британской империи и навязать собственное видение мирового экономического и политического порядка. Все мы знаем, кто победил. Здесь Арриги делает еще одно интересное замечание. В отличие от Британской империи, которая серьезно относилась к риторике свободного рынка и упразднила свои протекционистские пошлины знаменитым биллем об отмене хлебных законов 1846 года, ни германский, ни американский режимы никогда особо не были заинтересованы в свободной торговле. Американцы больше стремились к созданию структур международного управления. Забрав у Великобритании бразды правления после Второй мировой войны, Соединенные Штаты первым делом организовали первые поистине планетарные бюрократические структуры в виде Организации Объединенных Наций и Бреттон-Вудских институтов – Международного валютного фонда, Всемирного банка и ГАТТ, позже превратившегося в ВТО. Британская империя никогда не пыталась предпринять что-либо подобное. Она либо завоевывала другие страны, либо торговала с ними. Американцы же стремились управлять всем и каждым.

Я заметил, что британцы гордятся тем, что не сильно разбираются в бюрократии; американцы же, напротив, словно смущаются того факта, что очень неплохо ориентируются

в ее дебрях¹⁴. Это не соответствует представлению американцев о самих себе. Считается, что мы – индивидуалисты и полагаемся на самих себя (именно поэтому так эффективна демонизация бюрократов со стороны правых популистов). Тем не менее факт остается фактом: Соединенные Штаты являются (причем уже более ста лет) глубоко бюрократическим обществом. Это не так очевидно, потому что большинство американских бюрократических привычек и воззрений – от одежды и языка до дизайна формуляров и офисов – пришли из частного сектора. Когда писатели и социологи описывали «Человека организации» или «Человека в сером фланелевом костюме», бездушного конформиста, американского аналога советского аппаратчика, они не говорили о чиновниках из Департамента землепользования и охраны природы или из Управления социальной защиты, а изображали корпоративного менеджера средней руки. И правда, в то время бюрократов из корпораций уже не называли бюрократами. Но они по-прежнему задавали стандарт того, как должны выглядеть административные работники.

Представление о том, что слово «бюрократ» следует рассматривать как синоним «государственного служащего», восходит к 1930-м годам, к эпохе «Нового курса», когда бюрократические структуры и методы впервые стали занимать заметное место в жизни многих обычных людей. Но в действительности с самого начала рузвельтовские нью-дилеры тесно сотрудничали с полчищами юристов, инженеров и корпоративных бюрократов, работавших в таких фирмах, как Ford, Coca-Cola или Procter & Gamble, и перенимали их стиль и мировоззрение; и когда в 1940-е годы Соединенные Штаты перешли на военное положение, то же самое сделала и гигантская бюрократия американской армии. Очевидно, что с тех пор Соединенные Штаты из военного положения так и не вышли. Тем не менее, как следствие этих методов, слово «бюрократ» закрепилось исключительно за государственными служащими: менеджеров средней руки или офицеров никто не считает бюрократами, даже если они целыми днями только и делают, что сидят за письменными столами, заполняют анкеты и готовят отчеты (то же относится и к полиции, и к сотрудникам Агентства национальной безопасности).

В Соединенных Штатах граница между государственным и частным долгое время была размытой. Например, широко известна «вращающаяся дверь» американской армии – высокопоставленные офицеры, занимающиеся вопросами снабжения, регулярно оказываются в советах директоров корпораций, выполняющих военные заказы. В более широком плане необходимость сохранения одних отраслей промышленности для военных целей и развития других позволила правительству США развернуть промышленное планирование фактически в советском стиле и в то же время не признаваться в этом. В конце концов, почти всё, от поддержания определенного количества сталелитейных заводов до проведения первых исследований по разработке интернета, можно оправдать, исходя из соображений подготовки к войне. И вновь, поскольку такого рода планирование осуществляется общими усилиями военных и корпоративных служащих, оно и близко не воспринимается как нечто бюрократическое.

Тем не менее с ростом финансового сектора ситуация вышла на качественно иной уровень, на котором становится практически невозможным определить, что является государственным, а что – частным. Это связано не столько с тем, что многие функции, некогда исполнявшиеся правительством, впоследствии передали частным корпорациям, сколько прежде всего с тем, как последние стали функционировать.

Позволю себе привести пример. Пару недель назад я в течение нескольких часов общался с Bank of America, пытаюсь разобраться, как получить доступ к информации о моем счете, если я нахожусь за рубежом. Для этого мне пришлось поговорить с четырьмя разными представителями банка, дважды меня перевели на несуществующие номера, три раза мне долго объясняли сложные и явно произвольные правила, и я предпринял две безуспешные попытки заменить устаревшие данные об адресе и номере телефона, которые хранились в различных компьютерных системах. Иными словами, это было само воплощение бюрократической волокиты (по завершении всего этого я так и не смог получить доступ к моему счету).

Теперь у меня не осталось ни малейших сомнений, что, если бы я решил найти управляющего банком и спросить у него, как такое вообще возможно, он или она стали бы сразу убеждать меня, что банк обвинять в этом нельзя – все это последствия мудреной путаницы, созданной правительственными предписаниями. Тем не менее я также уверен в том, что если бы существовала возможность изучить, как эти предписания появились, то обнаружилось бы, что они были совместно составлены консультантами законодателей, заседающих в каком-нибудь банковском комитете, лоббистами и адвокатами, нанятыми самими банками, а весь процесс был простимулирован щедрыми жертвованиями на кампании по переизбранию тех же самых законодателей. То же можно было бы сказать и о кредитных рейтингах, страховых премиях, заявлениях на выдачу ипотеки, равно как и о процессе покупки билета на самолет, о подаче заявления на получение разрешения на плавание с аквалангом или о попытке заказать эргономическое кресло в офис какого-нибудь частного, на первый взгляд, университета. Подавляющее большинство бумажной волокиты, которой мы занимаемся, существует лишь в этой своего рода промежуточной зоне – на первый взгляд, частной, но на деле полностью сформированной правительством, задающим юридические рамки и обеспечивающим соблюдение правил при помощи своих судов и всех связанных с ними сложных механизмов принуждения, но в первую очередь – и это главное – держащим в уме стремление частного сектора к тому, чтобы все это в результате обеспечивало определенную норму частной прибыли.

В подобных случаях язык, который мы используем – и который породила критика правых, – оказывается совершенно неподходящим. Он ничего не говорит нам о том, что происходит на самом деле¹⁵.

Рассмотрим такое явление, как дерегулирование. В сегодняшнем политическом дискурсе слово «дерегулирование» (как и «реформа») почти всегда считается чем-то положительным. дерегулирование означает меньше бюрократического вмешательства и меньше правил и предписаний, душащих инновации и торговлю. Такое использование ставит тех, кто относит себя к левой части политического спектра, в неловкое положение, поскольку сопротивление дерегулированию (даже если учесть, что именно вакханалия этого самого

«дерегулирования» привела к банковскому кризису 2008 года) подразумевает стремление к большему количеству правил и предписаний, а значит, к увеличению числа людей в серых костюмах, стоящих на пути к свободе и к инновациям и указывающим другим, что они должны делать.

Но эти споры основаны на ложных предпосылках. Вернемся к банкам. «Нерегулируемых» банков не бывает. И быть не может. Например, правительство наделило банки властью создавать деньги или, если отнестись к этому вопросу несколько более педантично, право выдавать долговые расписки, которые правительство признает в качестве платежного средства, а значит, принимает для уплаты налогов и для погашения долгов на подконтрольной ему национальной территории. Разумеется, никакое правительство не станет предоставлять кому бы то ни было (и уж тем более фирме, стремящейся к получению прибыли) власть выпускать столько денег, сколько ей захочется, в любых обстоятельствах. Это было бы безумием. Власть создавать деньги устроена так, что правительства по определению могут передавать ее лишь на четко прописанных (читай: регулированных) условиях. И действительно, именно это мы всегда и обнаруживаем: правительство контролирует всё, от резервных требований к банку до времени его работы; сколько он может брать в виде процентов, комиссий и пеней; какие предосторожности в области безопасности он способен или должен применять; как он уполномочен вести свою бухгалтерию и по ней отчитываться; как и когда он обязан извещать своих клиентов об их правах и обязанностях; и практически все остальное.

Так что люди сегодня имеют в виду, говоря о «дерегулировании»? В повседневном использовании это слово, похоже, подразумевает «изменение нормативной структуры так, как мне нравится». На практике оно может означать все что угодно. Применительно к авиационным или телекоммуникационным компаниям в 1970-е и 1980-е годы оно означало переход от системы регулирования, поощрявшей несколько крупных фирм, к модели, которая стимулировала тщательно контролируемую конкуренцию между фирмами среднего размера. Применительно к банкам «дерегулирование» обычно подразумевало ровно противоположное: отказ от управляемой конкуренции между фирмами среднего размера в пользу модели, при которой горстке финансовых конгломератов позволено полностью господствовать на рынке. Именно поэтому этот термин так удобен. Просто назвав новую регулятивную меру «дерегулированием», вы можете представить ее публике как способ сократить бюрократию и высвободить личную инициативу, даже если ее результатом станет пятикратное увеличение количества формуляров, отчетов, правил и норм, которые юристы должны будут истолковывать, и услужливых людей в офисах, чья работа, похоже, заключается в том, чтобы давать вам изощренные объяснения, почему вам нельзя делать те или иные вещи¹⁶.

У этого процесса постепенного слияния государственной и частной власти в единое целое, который порождает ворох правил и предписаний, создаваемых с целью извлечения богатства в виде прибыли, пока еще даже нет названия. Что само по себе показательное. Такое может происходить зачастую потому, что мы не знаем, как говорить об этом процессе.

Но его последствия мы наблюдаем во всех сферах нашей жизни. Он заполняет наши дни бумажной волокитой. Бланки становятся все длиннее и заковыристее. Обычные документы вроде счетов, билетов, членских карт спортивных или книжных клубов подкрепляются теперь страницами бюрократического текста, набранного мелким шрифтом.

Я собираюсь обозначить этот процесс и буду называть его эпохой «тотальной бюрократизации» (я также склонялся к эпохе «хищнической бюрократизации», но здесь я хочу подчеркнуть именно вездесущую природу данного явления). Можно сказать, что его первые ростки появились как раз тогда, когда в конце 1970-х годов начала угасать общественная дискуссия о бюрократии, его серьезное развитие продолжилось в 1980-е, а настоящий размах оно приобрело в 1990-е.

В одной из своих книг я высказывал предположение, что ключевой исторический перелом, ознаменовавший появление нынешнего экономического режима, произошел в 1971 году, когда была отменена привязка американского доллара к золоту. Именно это открыло дорогу сначала финансиализации капитализма, а затем и более глубоким изменениям, которые, как мне кажется, в итоге с ним покончат. Я по-прежнему так считаю. Но здесь мы говорим о краткосрочных последствиях. Что означала финансиализация для того глубоко бюрократизированного общества, которым являлась послевоенная Америка?¹⁷

На мой взгляд, то, что произошло, лучше всего рассматривать как смещение классовых предпочтений управленческого персонала крупнейших корпораций от непростого фактического союза с рабочими к союзу с инвесторами. Как давно отмечал Джон Кеннет Гэлбрейт, если вы создаете предприятие по производству духов, молочных продуктов или самолетных корпусов, то его работники, будучи предоставлены самим себе, скорее будут направлять свои усилия на то, чтобы производить духи, молочные продукты или самолетные корпуса лучшего качества и в большем количестве, а не думать в первую очередь о том, что принесет больше денег акционерам. Более того, поскольку на протяжении значительной части XX века работа в крупной бюрократической фирме означала гарантированную пожизненную занятость, все люди, вовлеченные в процесс, как менеджеры, так и рабочие, считали, что у них в этом отношении общие интересы, которые важнее интересов собственников и инвесторов, сующих нос не в свое дело. Такая солидарность между разными классами даже получила свое название – «корпоративизм». Романтизировать ее не стоит: она являлась одной из философских основ фашизма. Ведь можно сказать, что фашизм просто перенял мысль о том, что у рабочих и управленцев общие интересы и что такие организации, как корпорации и сообщества, образуют органическое целое, а финансисты – это чуждая, паразитическая сила, и затем довел ее до убийственной крайности. Даже в более мягких социал-демократических вариантах в Европе и Америке социальная политика зачастую окрашивалась в шовинистические тона¹⁸ – кроме того, она еще и привела к тому, что инвесторы до определенной степени всегда рассматривались как чужаки, против которых белые и синие воротнички выступали единым фронтом.

Радикалам 1960-х годов, чьи антивоенные демонстрации регулярно подвергались нападению со стороны националистически настроенных водителей грузовиков и рабочих, реакционные последствия корпоративизма казались очевидными. Корпоративные офисные служащие и хорошо зарабатывающий промышленный пролетариат, нашедший воплощение

в образе Арчи Банкера, находились по одну сторону баррикад. Неудивительно, что левая критика бюрократии в те времена сосредотачивалась на том, что общих черт с фашизмом у социал-демократии было больше, чем сторонники последней были готовы признать. Неудивительно и то, что эта критика сегодня кажется совершенно неприменимой¹⁹.

В 1970-е годы произошло событие, повлиявшее на то, что мы видим сегодня, а именно стратегический разворот верхних слоев американской корпоративной бюрократии от рабочих к акционерам, а затем и к финансовым структурам в целом. Такие явления, как слияния и поглощения, корпоративное рейдерство, спекулятивные облигации и распродажа активов, начавшиеся при Рейгане и Тэтчер и достигшие кульминации со становлением частных инвестиционных фирм, были лишь одними из наиболее ярких ранних механизмов, при помощи которых осуществилось это смещение предпочтений. На деле данное движение носило двойственный характер: корпоративный менеджмент все сильнее финансиализировался, но вместе с тем финансовый сектор становился более корпоративным по мере того, как инвестиционные банки, хедж-фонды и тому подобные компании вытесняли индивидуальных инвесторов. В результате класс инвесторов и класс управленцев стали практически неотличимы друг от друга (вспомните термин «финансовый менеджмент», которым начали обозначать и то, как высшие слои корпоративной бюрократии управляют своими фирмами, и то, как инвесторы распоряжаются своими портфелями). Вскоре героических генеральных директоров стали прославлять в СМИ, причем их успешность измерялась количеством работников, которых они могли уволить. К 1990-м годам пожизненная занятость ушла в прошлое даже для белых воротничков. Если корпорации хотели добиться преданности, они все чаще расплачивались со своими сотрудниками биржевыми опционами⁰.

В то же время новое кредо гласило, что каждый должен смотреть на мир глазами инвестора – вот почему в 1980-е годы газеты начали увольнять репортеров, рассказывавших о трудовых отношениях, а новостные выпуски стали сопровождаться бегущей строкой внизу экрана, отражающей актуальные котировки акций. Везде говорили о том, что, участвуя в личном пенсионном или инвестиционном фонде того или иного рода, каждый может получить свой кусок капитализма. На самом деле магический круг расширился лишь настолько, чтобы вобрать в себя наиболее высокооплачиваемых профессионалов и самих корпоративных бюрократов.

Тем не менее это расширение считалось очень значительным. Ни одна политическая революция не может быть успешной без союзников, потому было крайне необходимо привлечь определенную часть среднего класса и, что еще важнее, убедить основную массу среднего класса, что у нее есть своя доля в капитализме, в котором господствуют финансы. В конечном итоге самые либеральные члены этой элиты профессионалов и менеджеров стали социальной базой того, что начали называть политическими партиями «левого толка» по мере того, как непосредственные организации рабочих вроде профсоюзов все больше оттеснялись (например, Демократическая партия США или «новые лейбористы» в Великобритании, чьи лидеры регулярно устраивали ритуальные акты публичного отречения от тех самых профсоюзов, что исторически служили их наиболее прочной основой). Конечно, были люди, уже работавшие в тщательно забюрократизированных организациях, например, в школах, больницах или корпоративных юридических фирмах. Настоящий рабочий класс,

традиционно испытывавший ненависть к таким лицам, либо полностью выпал из политики, либо все чаще в знак протеста голосовал за правых радикалов²¹.

Это была не просто политическая перестройка, а настоящая культурная трансформация. Так подготовили основу для процесса, посредством которого бюрократические приемы (анализ эффективности, фокус-группы, исследования о распределении времени), разработанные в финансовых и корпоративных кругах, наводнили остальные сферы общества – образование, науку, правительственные институты, – а затем проникли почти во все сферы повседневной жизни. Проще всего этот процесс можно проследить по языку. В этих кругах сложилось специфическое наречие, полное ярких и пустых терминов: «видение», «качество», «заинтересованное лицо», «лидерство», «совершенство», «инновации», «стратегические задачи» или «передовой опыт» (большая часть из них восходит к движениям «раскрытия своих способностей», таким как Lifespring, Mind Dynamics и EST; эти термины были чрезвычайно популярны в залах заседаний корпораций в 1970-е годы, но очень скоро превратились в самостоятельный язык). Теперь представьте, что можно создать карту какого-нибудь крупного города и поместить маленькую синюю точку там, где находится каждый документ, в котором используются по меньшей мере три таких слова. Затем вообразите, что мы способны видеть, как они меняются на протяжении времени. Мы смогли бы наблюдать за тем, как новая корпоративная культура расплзается, словно синее пятно в чашке Петри: появившись в финансовых районах, она проникает в залы заседаний, затем в правительственные учреждения и в университеты и, наконец, заполняет все места, где люди собираются для обсуждения распределения каких бы то ни было ресурсов.

Хотя этот союз правительства и финансов на все лады расхваливает рынки и личную инициативу, часто он приводит к результатам, которые поразительно напоминают худшие проявления бюрократизации в СССР или в бывших колониальных задворках глобального Юга. К примеру, существует антропологическая литература, посвященная культуре сертификатов, лицензий и дипломов в бывшем колониальном мире. Часто она рассказывает о том, что в странах вроде Бангладеш, Тринидада и Тобаго или Камеруна, находящихся в плену удушающего наследия колониального владычества и собственных магических традиций, официальные удостоверения считаются чем-то вроде материального фетиша, то есть волшебных объектов, придающих силу сами по себе, без какой-либо связи с реальными знаниями, опытом или навыками, которые они должны отражать. Но начиная с 1980-х годов настоящий взрыв сертификатов произошел в «передовых» странах, таких как США, Великобритания или Канада. Как отмечает антрополог Сара Кендзиор:

“ «Соединенные Штаты стали страной, строже всех в мире относящейся к сертификатам», – пишут Джеймс Эндрелл и Энтони Дэнджерфилд в своей книге «Как спасти высшее образование в эпоху денег», изданной в 2005 году. «Степень бакалавра требуют при приеме на такие рабочие места, для которых, даже при самом богатом воображении, не может понадобиться и

двух лет очного обучения, не говоря уже о четырех».

Превращение вузовского диплома в условие для того, чтобы стать частью среднего класса, привело к исключению из числа общественно значимых тех профессий, что не требуют университетского образования. В 1971 году университетский диплом был у 58 % журналистов. Сегодня этот показатель составляет 92 %, и во многих изданиях требуют университетский диплом по журналистике, несмотря на тот факт, что самые известные журналисты его никогда не получали²².

Журналистика – это одна из общественно значимых сфер (к коим относятся и политика), где дипломы фактически служат разрешением говорить, уменьшая шансы тех, у кого их нет, найти работу и остаться в этой сфере. Способности без диплома теряют в цене, а способность приобретать дипломы в большинстве случаев зависит от семейного благосостояния²³.

Эту историю можно повторять и применительно к другим профессиям – от медсестер и учителей рисования до физиотерапевтов и консультантов по вопросам внешней политики. Почти в каждой сфере деятельности, раньше считавшейся искусством, которому лучше учиться на практике, теперь требуется формальная профессиональная подготовка и сертификат о завершении обучения. К тому же это происходит в равной степени и в частном секторе, и в государственном, поскольку, как мы уже отмечали, в бюрократических вопросах это различие утратило всякий смысл. Хотя эти меры навязываются – как и все бюрократические меры – под предлогом создания честных, безличных механизмов в областях, где раньше господствовали закрытые от других знания и социальные связи, зачастую они приводят к противоположному результату. Как знает всякий, кто учился в аспирантуре, именно дети профессионалов и менеджеров, которые благодаря семейным ресурсам меньше прочих нуждаются в финансовой поддержке, лучше разбираются в мире бумажной волокиты и потому скорее получают эту поддержку²⁴. Для всех остальных главным результатом многолетней профессиональной подготовки становится то, что они обременены такими колоссальными долгами за обучение, что значительная доля любого последующего дохода, что они получают от своей профессиональной деятельности, каждый месяц будет выкачиваться финансовым сектором. В некоторых случаях эти новые требования к подготовке можно охарактеризовать лишь как откровенное мошенничество, например, когда кредиторы и разработчики программ подготовки совместно требуют от правительства, чтобы, скажем, все фармацевты отныне сдавали какой-нибудь дополнительный квалификационный экзамен, что вынуждает тысячи людей, уже занимающихся этой профессией, посещать вечернюю школу, в которой, как эти фармацевты прекрасно понимают, многие смогут учиться при условии, что возьмут кредиты на обучение под высокий процент²⁵. Поступая так, кредиторы законодательно закрепляют свое право на присвоение значительной части последующих доходов фармацевтов²⁶.

Последнее может показаться крайностью, но это в какой-то степени образцовый пример слияния государственной и частной власти в условиях нового финансового режима. Корпоративные доходы в Америке все чаще обеспечиваются вовсе не торговлей или промышленностью, а финансами – то есть в итоге долгами других людей. Эти долги не

возникают случайно. В значительной степени они проектируются, причем именно этим слиянием государственной и частной власти. Корпоративизация образования; вытекающее из нее раздувание стоимости обучения, поскольку предполагается, что студенты должны платить за гигантские футбольные стадионы и тому подобные проекты, лелеемые доверительными управляющими, или оплачивать возрастающие зарплаты университетских сотрудников, которых становится все больше; растущий спрос на дипломы, служащие сертификатом для поступления на работу, которая обещает доступ к уровню жизни среднего класса; вытекающий из этого рост уровня задолженности – все это образует единую цепь. Одним из следствий всех этих долгов становится то, что правительство превращается в главный механизм извлечения корпоративных доходов (просто представьте, что произойдет, если кто-нибудь попытается не выплачивать долг за обучение: в действие вступит весь правовой аппарат, угрожая арестом имущества и зарплаты и наложением дополнительных многотысячных штрафов). Другое следствие – это то, что самих должников вынуждают все больше бюрократизировать свою жизнь, которую нужно организовывать так, как если бы они сами были маленькими корпорациями: рассчитывая издержки и доходы и постоянно пытаюсь сбалансировать счета.

Также важно подчеркнуть, что, хотя эта система извлечения прибыли облачается в язык правил и предписаний, ее функционирование в нынешнем виде не имеет ничего общего с верховенством закона. Скорее само юридическое устройство стало инструментом системы все более и более произвольного извлечения денег. По мере того как прибыли банков и компаний, выпускающих кредитные карты, все в большей степени обеспечиваются за счет «платежей и штрафов», взимаемых с их клиентов – настолько, что с тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, могут регулярно взимать штрафы в восемьдесят долларов за перерасход средств в размере пяти долларов, – финансовые компании стали играть по совершенно иным правилам. Однажды на конференции, посвященной кризису банковской системы, у меня состоялся короткий неформальный разговор с экономистом из одного Бреттон-Вудского института (наверное, лучше не называть, какого именно). Я спросил его, почему все до сих пор ждут, что хотя бы одного банковского служащего привлекут к судебной ответственности за любое из мошеннических действий, приведших к краху 2008 года.

“ СЛУЖАЩИЙ. Ну, вы должны понимать, что американские прокуроры всегда стремятся достигать полюбовного соглашения с финансовыми мошенниками. В результате финансовый институт обязуют выплатить штраф, иногда в размере нескольких сотен миллионов, но фактически они не признают никакой уголовной ответственности. Их юристы просто говорят, что они не будут оспаривать обвинение, но если они заплатят, то технически перестанут считаться виновными.

Я. То есть вы говорите, что если правительство видит, что, допустим, Goldman Sachs или Bank of America совершили мошенничество, то их просто заставят выплатить штраф.

СЛУЖАЩИЙ. Так и есть.

Я. Ну, в этом случае... Ладно, я так понимаю, что лучше задать вопрос так: случалось ли когда-нибудь такое, чтобы штраф, который компания была обязана заплатить, был больше того, что она заработала на мошенничестве?

СЛУЖАЩИЙ. Нет, насколько я знаю. Обычно штраф намного меньше.

Я. О каком объеме мы говорим? 50 %?

СЛУЖАЩИЙ. Я бы сказал, скорее 20–30 %, в среднем. Но сумма значительно варьируется от случая к случаю.

Я. И это получается... Поправьте меня, если я ошибаюсь, но не означает ли это, что правительство говорит: «Вы можете совершать любое мошенничество, какое вам вздумается, но, если мы вас поймаем, вы должны будете заплатить нам долю»?

СЛУЖАЩИЙ. Ну, я, разумеется, не могу использовать такие формулировки, пока я работаю в банке...

И разумеется, право этих же банков взимать с владельцев счетов восемьдесят баксов за перерасход подкрепляется все той же судебной системой, которая довольствуется лишь отступными, когда сами банки проворачивают махинации.

С одной стороны, это может казаться лишь еще одним примером всем известной истории: богатые всегда играют по другим правилам. Если дети банкира регулярно выкручиваются, когда их ловят с таким количеством кокаина, которого хватило бы на десятки лет заключения в федеральной тюрьме, будь они бедными или черными, то почему что-то должно измениться, когда они сами становятся банкирами? Но, на мой взгляд, тут речь идет о чем-то более глубоком, в чем проявляется сама сущность бюрократических систем. Такие институты всегда создают культуру соучастия. Дело не просто в том, что какие-то люди могут нарушать правила, а в том, что преданность человека организации до определенной степени измеряется готовностью притворяться, будто этого не происходит. А поскольку бюрократическая логика распространяется на все общество в целом, то все мы начинаем подыгрывать.

На этом вопросе стоит остановиться. Я имею в виду, что здесь мы наблюдаем не просто двойные стандарты, а особые двойные стандарты, которые повсеместно являются отличительными чертами бюрократических систем. Любая бюрократия несколько утопична в том смысле, что она предлагает абстрактный идеал, которого люди никогда не достигнут. Возьмем в качестве точки отсчета страсть к дипломам. Социологи вроде Вебера всегда отмечают, что одной из определяющих черт любой бюрократии является то, что ее представители отбираются по формальным, безличным критериям – чаще всего, на основе какого-нибудь письменного теста (иными словами, бюрократы, например, не избираются, как политики, но, с другой стороны, они не устраиваются на работу просто благодаря родственным связям). В теории, тут действуют принципы меритократии. Но всякому

известно, что в этой системе тысячи дефектов. Многие бюрократы, в действительности, получили должность благодаря родственным связям, и все об этом знают. Первым критерием преданности организации становится соучастие. По карьерной лестнице продвигаются не за достоинства и даже не при помощи родственников, а в первую очередь благодаря готовности делать вид, будто карьерный рост основан на достижениях, даже если все знают, что это не так²⁷. Или притворяться, что правила и нормы одинаковы для всех, хотя на самом деле их часто используют как инструмент совершенно произвольной личной власти.

Бюрократия работала так всегда. Но на протяжении большей части истории этот факт имел значение только для тех, кто и правда действовал в рамках административных систем, допустим, для амбициозных конфуцианских ученых в средневековом Китае. Всем остальным не было нужды часто думать об организациях; обычно они сталкивались с ними раз в несколько лет, когда наступало время учета их полей и скота местными налоговыми властями. Но, как я уже отмечал, в минувшие два столетия произошел взрывной рост бюрократии, а в последние тридцать-сорок лет бюрократические принципы проникли во все сферы нашей жизни. В результате распространилась и эта культура соучастия. Многие из нас действуют так, как если бы они верили, что в судах с финансовыми учреждениями обращаются как положено, и что с ними обходятся даже слишком жестко, и что обычные граждане действительно заслуживают того, чтобы их наказывали в сто раз строже за перерасход средств. Поскольку целые общества стали утверждать, что придерживаются концепции меритократии, подкрепленной дипломами, и не считают себя системами произвольного вымогательства, каждый спешит выслужиться, утверждая, что действительно верит в то, что все так и есть.

ак как могла бы выглядеть левая критика тотальной или хищнической бюрократизации?

На мой взгляд, подсказку может дать история Глобального движения за справедливость, которое, к своему собственному удивлению, выяснило, в чем заключается тотальная бюрократизация. Я помню это достаточно хорошо, потому что в свое время активно принимал участие в их деятельности. В 1990-е годы «глобализация», как возвещали журналисты вроде Томаса Фридмана (а на самом деле весь журналистский истеблишмент в Соединенных Штатах и в большинстве других богатых стран), представлялась почти естественной силой. Технологические достижения, в особенности интернет, сделали мир сплоченным как никогда прежде, возросший объем коммуникаций вел к росту торговли, а национальные границы быстро утрачивали свое значение в условиях, когда договоры о свободной торговле превращали планету в единый мировой рынок. В политических дебатах того времени, что велись в ведущих СМИ, все это воспринималось как настолько очевидные реалии, что казалось, будто всякий, кто выступал против этого процесса, действует против основных законов природы – его противники словно отрицали, что Земля круглая, и считались шутами, левыми эквивалентами библейских фундаменталистов, утверждающих, что эволюция – ложь.

Поэтому, когда возникло Глобальное движение за справедливость, СМИ рисовали его как последнее порождение пещерных левых, которые хотели восстановить протекционизм, национальный суверенитет, барьеры на пути торговли и коммуникаций и вообще стать на пути Необратимого Течения Истории. Проблема в том, что все, разумеется, было не так. Почти сразу выяснилось, что средний возраст протестующих, прежде всего в богатых странах, составлял девятнадцать лет. Еще важнее было то, что движение само стало формой глобализации: это был калейдоскопический союз людей со всех уголков мира, включавший в себя самые разные объединения, от ассоциаций индийских крестьян до профсоюза канадских работников почты, от групп панамских индейцев до анархистских коллективов из Детройта. Более того, представители движения неустанно повторяли, что, несмотря на утверждения в обратном, то, что СМИ называли «глобализацией», не имело практически ничего общего со стиранием границ и свободным движением людей, товаров и идей. Речь на самом деле шла о заточении все большей части населения мира в милитаризованных национальных границах, в рамках которых можно было систематически уничтожать социальную защиту, создавая группу настолько отчаявшихся трудящихся, что они будут готовы работать практически даром. Выступая против такого положения дел, они предлагали настоящий мир без границ.

Разумеется, сторонники этих идей не могли выступать на телевидении или в крупнейших газетах, по крайней мере, не в таких странах, как США, где СМИ находятся под строгим контролем их собственных внутренних корпоративных бюрократов. Эти темы были под запретом. Но мы обнаружили, что способны сделать кое-что, что сработает не хуже. Мы могли осаждать саммиты, где обсуждались торговые соглашения, и ежегодные встречи институтов, которые придумывали, зашифровывали и воплощали в жизнь параметры того, что называлось глобализацией. До тех пор, пока движение не пришло в Северную Америку, где взяло в осаду саммит ВТО в Сиэтле в ноябре 1999 года (а затем блокировало встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне), большинство американцев и понятия не имело о том, что эти организации вообще существуют. Эти акции оказали магическое воздействие, которое продемонстрировало все то, что раньше пытались скрыть: все, что нам нужно было сделать, это выступить и попытаться заблокировать место проведения мероприятия – так мы сразу разоблачили огромную мировую бюрократию взаимосвязанных организаций, о деятельности которой никто не догадывался. И разумеется, в то же время мы словно по мановению волшебной палочки вывели на улицы тысячи вооруженных полицейских из отрядов по борьбе с беспорядками, показавших, что эти бюрократы были готовы наброситься на любого, пусть даже исповедующего принципы ненасилия человека, который оказывался у них на пути.

Эта стратегия оказалась на удивление эффективной. Всего за два-три года мы потопили почти все варианты нового глобального торгового соглашения, а институты вроде МВФ были фактически выдворены из Азии, Латинской Америки и большей части земного шара²⁸.

Эта тактика сработала, поскольку показала, что все, что людям рассказывали о глобализации, являлось ложью. Она не была каким-то естественным процессом мирной торговли, который стал возможным благодаря технологиям. То, что описывалось терминами «свободная торговля» и «свободный рынок», на самом деле влекло за собой осознанное построение первой эффективной административной бюрократической системы

планетарного масштаба²⁹. Основы этой системы были заложены в 1940-е годы, но лишь с завершением холодной войны они стали по-настоящему эффективны. В процессе эти основы – как и большинство прочих бюрократических систем, создававшихся в то же время в меньших масштабах, – вобрали в себя такое хитросплетение государственных и частных элементов, что зачастую их было невозможно разделить даже на уровне теории. Давайте представим это следующим образом: на самом верху находились торговые бюрократии, такие как МВФ, Всемирный банк, ВТО и «большая восьмерка», наряду с договорными организациями вроде НАФТА или ЕС. Они вырабатывали экономическую (и даже социальную) политику, которой следовали якобы демократические правительства глобального Юга. Чуть ниже располагались крупные мировые финансовые компании, такие как Goldman Sachs, Lehman Brothers, American Insurance Group или, если уж на то пошло, институты вроде Standard & Poors. Еще ниже находились транснациональные мегакорпорации (большая часть того, что называлось «международной торговлей», на деле состояло из перемещения материалов между различными филиалами одного гиганта). Наконец, нужно включить сюда НКО, начавшие оказывать во многих частях мира различные социальные услуги, которые прежде обеспечивало правительство, с тем результатом, что городское планирование в каком-нибудь непальском городе или политика в области здравоохранения в некоем нигерийском поселке вполне вероятно разрабатывалась в офисах, расположенных в Цюрихе или в Чикаго.

В то время мы не рассуждали об этом в таком ключе, то есть не говорили, что «свободная торговля» и «свободный рынок» на самом деле подразумевают создание мировых административных структур, главной целью которых является обеспечение прибыли инвесторов, и что «глобализация» в действительности означает бюрократизацию. Часто мы к этому приближались. Но очень редко говорили об этом вслух.

Оглядываясь назад, я думаю, что именно на это мы должны были обращать внимание. Даже акцент на изобретении новых форм демократических процессов, который лежал в основе движения – ассамблей, советов представителей и так далее, – был в первую очередь способом показать, что люди могут ладить друг с другом (и даже принимать важные решения и осуществлять сложные коллективные проекты) без необходимости заполнять бланки, обжаловать судебные решения или угрожать звонками в полицию или службу безопасности.

Глобальное движение за справедливость было, по сути, первым крупным левым антибюрократическим сообществом эпохи тотальной бюрократизации. На мой взгляд, оно преподавало важные уроки всякому, кто пытается разработать подобную критику. Позволю себе остановиться на трех из них.

1. Нельзя недооценивать роль откровенного физического насилия

Полчища военизированной полиции, которые нападали на протестующих против саммитов, не были каким-то странным побочным следствием «глобализации». Когда кто-либо начинает говорить о «свободном рынке», то неплохо бы оглянуться и посмотреть, нет ли рядом человека с ружьем. Он всегда будет неподалеку. Либерализм свободного рынка XIX века совпал с изобретением современной полиции и частных детективных агентств³⁰ и с постепенным распространением представления о том, что полиции принадлежит власть принимать решения по всем вопросам городской жизни: от регулирования деятельности уличных торговцев до уровня шума на частных вечеринках и даже до улаживания разборок между безумными субъектами или соседями по общежитию. Мы настолько привыкли к мысли о том, что всегда можем позвонить в полицию, чтобы решить любое затруднение, что многим из нас трудно даже представить, как поступали люди до того, как это стало возможным³¹. Исторически у подавляющего большинства людей, даже тех из них, кто жил в крупных городах, просто не было властей, к которым они могли обратиться в таких обстоятельствах. Или, по крайней мере, не было безличных бюрократических заступников, которые, подобно современной полиции, обладали бы полномочиями принимать произвольные решения, подкрепляемые угрозой применения силы.

Здесь, на мой взгляд, уместно упомянуть своего рода следствие Железного закона либерализма. История показывает, что политика, стимулирующая «рынок», всегда предполагала, что всем будут управлять люди в кабинетах, но еще она демонстрирует, что они также станут расширять радиус и насыщенность тех социальных отношений, которые в конечном счете регулируются посредством угрозы насилия. Это, разумеется, противоречит всему тому, что нам рассказывали о рынке, но если вы посмотрите на то, что происходит в действительности, то это правда. В определенном смысле вводит в заблуждение даже термин «следствие», потому что мы просто говорим о двух разных способах описания одного и того же явления. Бюрократизация повседневной жизни предполагает установление безличных правил и норм; безличные правила и нормы, в свою очередь, могут действовать лишь в том случае, если они подкрепляются угрозой применения силы³². Поистине, на последней стадии тотальной бюрократизации мы видим, что камеры видеонаблюдения, полицейские скутеры, мужчины и женщины в разнообразных униформах, которые работают на государство или на частные структуры и которых обучают тактике угроз, устрашения и, в конечном счете, применения физического насилия, появляются повсеместно – даже в таких местах, как детские площадки, начальные школы, университетские кампусы, больницы, библиотеки, парки или морские курорты, то есть там, где еще пятьдесят лет назад их присутствие казалось скандальным или просто странным.

Все это происходит тогда, когда социальные теоретики продолжают утверждать, что прямое применение силы играет все меньшую роль в поддержании структур социального контроля³³. Действительно, чем больше читаешь отчетов об университетских студентах, против которых применяют электрошокеры за несанкционированное использование библиотеки, или об английских профессорах, обвиненных в совершении тяжких преступлений после того, как их арестовали за переход улицы в неполюженном месте, тем больше сомнения вызывает утверждение о том, что различные виды тонкой символической власти, исследуемой английскими профессорами, действительно имеют значение. Это все больше звучит как отчаянный отказ признавать, что функционирование власти на самом деле может быть таким грубым и бесхитростным, каким мы наблюдаем его в повседневной

жизни.

В моем родном Нью-Йорке я наблюдал бесконечный рост числа банковских отделений. В мои детские годы банки в основном занимали большие, отдельно стоящие здания, как правило походившие на греческие или римские храмы. В последние тридцать лет отделения трех или четырех крупнейших банков открылись чуть ли не в каждом третьем квартале самой обеспеченной части Манхэттена. Сейчас в пределах большого Нью-Йорка их тысячи, и каждое из них пришло на смену какому-нибудь магазину, который раньше торговал различными материальными товарами и услугами. В определенном смысле эти отделения – совершенный символ нашей эпохи: магазины, продающие чистую абстракцию – безукоризненные коробки, в которых только и есть что стеклянные и стальные перегородки, мониторы компьютеров и вооруженная охрана. Они отражают идеальную точку сочленения между оружием и информацией, ведь ничего больше в них и нет. И эта комбинация стала задавать рамки почти всем остальным сторонам нашей жизни.

Когда мы задумываемся об этих вещах, мы, как правило, поступаем так, как если бы все это было следствием технологий: этот мир был создан компьютерами. Он и сам похож на компьютер. Действительно, все эти новые помещения банков поразительно напоминают уменьшенную виртуальную реальность, которую можно было увидеть в видеоиграх 1990-х годов. Мы как будто обрели, наконец, способность воплощать эту виртуальную реальность, а наша жизнь превратилась в своего рода видеоигру, пока мы пытались разобраться в новых бюрократических лабиринтах. Поскольку в ней на самом деле ничего не производится, она обретает реальное воплощение, а мы проводим свою жизнь, зарабатывая очки и прячась от людей с оружием.

Однако ощущение, будто мы живем в мире, созданном компьютерами, само является иллюзией. Сделать вывод о том, что все это было неизбежным следствием развития технологий, а не социальных и политических сил, означало бы совершить ужасную ошибку. И здесь уроки «глобализации», которая, как считалось, была, в определенном смысле, создана интернетом, тоже имеют ключевое значение.

2. Не стоит переоценивать значение технологий как причинного фактора

Как то, что стали называть «глобализацией», было на самом деле творением новых политических союзов, политических решений и новых бюрократий – физические технологии вроде контейнерных перевозок или интернета появились позже, – так и всепроникающая бюрократизация повседневной жизни, ставшая возможной благодаря компьютерам, сама по себе не является результатом развития технологий. Скорее все ровно наоборот. Технологические трансформации не являются независимой переменной. Технологии будут развиваться зачастую совершенно неожиданными и удивительными путями. Но общее направление их изменений зависит от социальных факторов.

Об этом легко забыть, ведь наш непосредственный опыт повседневной бюрократизации полностью отражается в новых информационных технологиях: Facebook, банки в смартфоне, Amazon, PayPal, бесконечные мобильные устройства, которые уменьшают мир вокруг нас до размеров карт, форм, кодов и графиков. Тем не менее сделали все это возможным как раз те ключевые договоренности, о которых я говорю в этой книге и которые в 1970-е и 1980-е годы начали оформляться в союз между финансовыми и корпоративными бюрократами, на чьей основе и возникла новая корпоративная культура с ее способностью наводнять сферы образования, науки и правительства до такой степени, что государственная и частная бюрократии в конечном итоге слились в массу бумажной волокиты, предназначенной для обеспечения прямого вымогательства. Это не продукт новых технологий. Наоборот, на появление соответствующих реалий ушли десятилетия. В 1970-е годы компьютеры еще были чем-то вроде развлечения. Банки и правительственные учреждения охотно их устанавливали, но большинство клиентов воспринимало их как само воплощение бюрократического идиотизма; когда что-нибудь шло наперекосяк, обычной реакцией было закатывание глаз и выплескивание обвинений в адрес «какого-нибудь компьютера». Сорок лет спустя, после бездонных инвестиций в исследования в сфере информационных технологий, мы достигли точки, когда компьютеры, используемые банкирами, являются самым воплощением непогрешимой, волшебной эффективности.

Взять хотя бы банкоматы. За последние тридцать лет я не могу припомнить ни одного случая, когда бы я запросил в банкомате деньги и получил не ту сумму. Я не смог найти никого, с кем бы такое произошло. Это настолько справедливо, что после президентских выборов 2000 года в США, когда общественное мнение потчевали новостями о том, что ожидаемая статистическая погрешность у машины для голосования одного типа равна 2,8 %, а у машины другого типа – 1,5 %, некоторые осмелились заметить, что в стране, считающей себя государством победившей демократии, где выборы – это главное таинство, мы миримся с тем фактом, что машины для голосования регулярно ошибаются в подсчете голосов, тогда как каждый день сотни миллионов операций в банкоматах протекают с нулевой погрешностью. Что это говорит о том, что действительно важно американцам как нации?

Финансовые технологии с тех пор проделали путь от нелепых ошибок до такой степени надежности, что теперь они могут стать хребтом нашей социальной реальности. Вам никогда не приходится задумываться о том, выдаст ли вам банкомат правильную сумму денег. Если он работает, то ошибки не будет. Это придает финансовой абстракции вид непреложного факта – «подручности», как говорил Мартин Хайдеггер; она является столь неотъемлемой частью практической инфраструктуры наших повседневных замыслов и дел, что нам никогда не доводится о ней задумываться. Тем временем физическая инфраструктура вроде дорог, эскалаторов, мостов и подземных магистралей на наших глазах приходит в негодность, а ландшафт вокруг крупных городов усеян футуристическими объектами, которые ныне покрыты грязью, источают вонь или вообще заброшены. Ничего из этого не произошло. Это вопрос национальных приоритетов: результат политических решений, перераспределяющих средства от сохранения ландшафта к научным исследованиям определенного рода. Это мир, порожденный бесконечными документами об «образах», «качестве», «лидерстве» и «инновациях». Направленность технологических изменений показывает, что они не создали нынешнюю

ситуацию, а скорее являются производной от финансовой власти.

3. Всегда помните, что в конечном счете речь идет о ценности и стоимости (или: всякий раз, когда кто-нибудь утверждает, что его главная ценность – это рациональность, он говорит это только потому, что не хочет признавать, что́ на самом деле является для него главной ценностью)

Философия «раскрытия способностей», на основе которой сложилась бóльшая часть этого нового бюрократического языка, утверждает, что мы живем в безвременном настоящем, что история ничего не значит и мы просто создаем мир вокруг нас силой воли. Это разновидность индивидуалистического фашизма. В 1970-е, когда эта философия стала популярной, определенные консервативные христианские теологи размышляли в том же ключе: электронные деньги они рассматривали как продолжение созидательной власти Господа, которая находит свое материальное воплощение благодаря одухотворенным предпринимателям. Легко заметить, что это ведет к созданию мира, в котором финансовые абстракции считаются краеугольным камнем реальности, а окружающая нас действительность зачастую выглядит словно объемная распечатка с чьего-то компьютерного экрана. На самом деле ощущение порожденного цифровыми технологиями мира, который я описываю, можно рассматривать как идеальную иллюстрацию другого социального закона (по крайней мере, мне кажется, что его можно считать законом), который гласит, что если люди, придерживающиеся самых бредовых идей, получают достаточную власть в обществе, то они, осознанно или нет, ухитрятся создать такой мир, существование в котором будет тысячами разных тонких способов усиливать впечатление, что эти идеи самоочевидны и истинны.

В странах Северной Атлантики все это стало кульминацией очень долгих усилий по трансформации массовых представлений об истоках стоимости. Большинство американцев, например, раньше было готово подписаться под наспех сформулированной версией трудовой теории стоимости. Интуитивно она имела смысл в мире, где почти все население состояло из крестьян, ремесленников или лавочников: считалось, что хорошие вещи в жизни существуют потому, что люди взяли на себя труд их изготовить; для этого им нужно было

применить свои мозги и мускулы, как правило примерно в равных пропорциях. В середине XIX века даже ведущие политики часто говорили языком, который, казалось, был напрямую заимствован у Карла Маркса. Например, Авраам Линкольн:

“Труд предшествует капиталу и не зависит от него. Капитал – это лишь плод труда, он никогда не мог бы существовать, если бы не существовал труд. Труд превосходит капитал и заслуживает намного большего уважения³⁴.”

Становление бюрократического капитализма в Позолоченный век сопровождалось сознательным стремлением новых магнатов отказаться от этого языка и распространить философию, которая в те времена считалась совершенно новой – сталелитейный магнат Эндрю Карнеги называл ее «Евангелием от богатства» – и которая гласила, что стоимость проистекала от самого капитала. Карнеги и его союзники запустили щедро финансируемую кампанию по распространению нового евангелия не только в Ротари-клубах и торговых палатах по всей стране, но и в школах, церквях и общественных организациях³⁵. Главный их довод заключался в том, что сама эффективность новых гигантских компаний, управляемых этими людьми, может создать такое материальное изобилие, которое позволит американцам осознать себя через то, что они потребляют, а не через то, что они производят. С этой точки зрения стоимость в конечном счете представляет собой производную от совершенно бюрократической структуры новых конгломератов.

Одна из идей, которую мы почерпнули в ходе участия в мероприятиях Глобального движения за справедливость, состоит в том, что политика, по сути, вращается вокруг ценностей и стоимости; но еще и в том, что те, кто создает разветвленные бюрократические системы, почти никогда не признают, в чем их ценности заключаются. Так было во времена Карнеги, так происходит и сейчас. Обычно, подобно баронам-разбойникам начала минувшего столетия, они настаивают на том, что они действуют, руководствуясь эффективностью или «рациональностью». Но на самом деле этот язык всегда оказывается осознанно расплывчатым и даже бессмысленным. Термин «рациональность» это прекрасно показывает. «Рациональный» человек – тот, кто способен устанавливать базовые логические связи и формировать небредовую картину мира. Иными словами, не сумасшедший. Те, кто утверждает, что их политика основана на рациональных принципах (и это справедливо и для левых, и для правых), уверяют, что всякий, кто с этим не согласен, безумен: трудно представить себе более высокомерную точку зрения. Или же они используют «рациональность» в качестве синонима «технической эффективности» и потому сосредотачивают внимание на том, как они делают что-то, поскольку не собираются говорить, что именно они делают. Такой подход особенно характерен для неоклассической экономики. Когда экономисты пытаются доказать, что «нерационально» голосовать на всеобщих выборах (потому что затраченное усилие перевешивает возможную выгоду для отдельного избирателя), они используют этот термин потому, что не хотят сказать: «Нерационально – по мнению тех, для кого участие в жизни общества, политические идеалы или общественное благо не являются ценностями самими по себе и кто рассматривает общественную деятельность исключительно с точки зрения собственной выгоды». Нет ни одной причины, по которой человек не мог бы рационально считать, что голосование – это наилучший способ продвижения своих политических идеалов. Однако, исходя из

представлений экономистов, всякий, кто так поступает, вполне вероятно просто, выжил из ума.

Иными словами, рассуждения на тему рациональной эффективности становятся способом избежать разговоров о том, что вообще такое эффективность; то есть в чем заключаются окончательные иррациональные устремления, удовлетворение которых считается конечной целью человеческого поведения. Это еще одно место, где рынки и бюрократии говорят на одном языке. И те и другие утверждают, что действуют во имя индивидуальной свободы и индивидуальной самореализации через потребление. В XIX веке даже сторонники старого прусского бюрократического государства вроде Гегеля или Гёте настаивали на том, что его авторитарные действия можно было оправдать тем, что они позволяли гражданам быть совершенно спокойными за свою собственность, а значит, иметь свободу делать в своих домах все, что им заблагорассудится: заниматься искусством, религией, упражняться в прозе или философствовать или же просто самим решать, какое пиво пить, какую музыку слушать и какую одежду носить. Когда в США зародился бюрократический капитализм, он тоже искал себе оправдания в потребительских терминах: можно объяснить требования к рабочим отказаться от всякого контроля над условиями труда, если им обеспечивается более широкий ассортимент дешевых товаров, которыми они могут пользоваться дома³⁶. Всегда считалось, что есть тесная взаимосвязь между безличной организацией, функционирующей по строгим правилам – будь то в государственной сфере или в области производства, – и полной свободой самовыражения в клубах, кафе, на кухнях или семейных пикниках (изначально эта свобода распространялась, разумеется, на мужчин – глав семейств; с течением времени она стала достоянием каждого, по крайней мере, в теории).

Самым значимым наследием господства бюрократических форм организации в последние двести лет является то, что оно создало впечатление, будто это интуитивное разделение между рациональными, техническими средствами и иррациональными целями, для достижения которых они, само собой разумеется, применяются. Это работает на национальном уровне, где государственные служащие гордятся тем, что могут найти самые эффективные средства для воплощения любых идей, что взбредают в голову правителям их страны: они могут заключаться в развитии культуры, имперских завоеваниях, построении подлинно эгалитарного общественного порядка или буквального применения библейских заветов. Это работает и на индивидуальном уровне, где все мы считаем очевидным, что люди отправляются на рынок, чтобы просто рассчитать самый эффективный способ собственного обогащения; но, когда они получают деньги, ничего не говорится о том, что они могут решить с ними сделать: купить особняк или гоночную машину, начать собственное расследование похищений людей инопланетянами или же просто потратить их на своих детей. Все это кажется настолько очевидным, что нам трудно вспомнить, что в подавляющем числе когда-либо существовавших человеческих обществ такое разделение просто не имело смысла. В большинстве стран и эпох то, как человек делает что-либо, считается окончательным выражением того, чем он является³⁷. Однако кажется, будто в тот момент, когда мир разделяют таким образом на две сферы (на область исключительно технической компетенции и на обособленную область сущностных ценностей), каждая из них неизбежно вторгается в другую. Кто-то заявит, что рациональность или даже эффективность сами по себе являются ценностями и даже сущностными ценностями и что мы обязаны каким-то образом создать «рациональное» общество (что бы это ни значило).

Другие станут утверждать, что жизнь должна быть подобна искусству или религии. Но все такие движения исходят из того самого разделения, которое они стремятся преодолеть.

При масштабном рассмотрении не имеет особого значения, пытается ли кто-то реорганизовать мир на основе бюрократической эффективности или рыночной рациональности: фундаментальные принципы у них одни и те же. Это помогает объяснить, почему переход от первой ко второй осуществляется так просто, как это было в случае бывших советских чиновников, которые бодро переключились от полного государственного контроля над экономикой на тотальную маркетизацию – и заодно, в полном соответствии с Железным законом, сумели резко увеличить общее число бюрократов в стране³⁸. Или объяснить, как эти два явления могут слиться в практически единое целое, как происходит в нынешнюю эпоху всеобщей бюрократизации.

Для всякого, кто когда-либо был беженцем или кому приходилось заполнять сорокастраничное заявление, чтобы устроить дочь в лондонскую музыкальную школу, мысль о том, что бюрократия имеет что-то общее с рациональностью и уж тем более с эффективностью, возможно покажется странной. Но именно так она выглядит, если смотреть на нее сверху. На самом деле внутри самой системы алгоритмы и математические формулы, через призму которых она смотрит на мир, становятся не просто мерами стоимости, но и источниками стоимости сами по себе³⁹. В конце концов, бюрократы во многом занимаются оценкой вещей. Они постоянно аттестуют, проверяют, измеряют, взвешивают относительные достоинства различных планов, предложений, заявлений, программ действий или кандидатов на повышение. Рыночные реформы лишь усиливают данную тенденцию, и происходит это на всех уровнях. Бедным приходится испытывать все это на своей шкуре, потому что их постоянно контролирует бесцеремонная армия педантов и моралистов, которые оценивают их способности к воспитанию детей, инспектируют их кухни, чтобы установить, действительно ли они живут вместе со своими партнерами, определяют, достаточно ли усердно они пытались найти работу или достаточно ли плохо их физическое состояние, чтобы признать их негодными к занятию трудом. Все богатые страны сегодня держат легионы чиновников, чья главная задача заключается в том, чтобы заставлять бедных чувствовать себя неполноценными. Но культура оценивания еще больше распространена в мире профессионалов, где бал правят диплом и культура проверок и где ничто не считается реальным до тех пор, пока это не измерят количественно, не сведут в таблицу, не введут в какой-нибудь интерфейс или не включат в квартальный отчет. Этот мир не просто представляет собой продукт финансиализации, а является ее продолжением. Ведь что такое мир секьюритизированных деривативов, обеспеченных долговых обязательств и прочих экзотических финансовых инструментов, если не апофеоз принципа, гласящего, что стоимость – это конечный продукт бумажной волокиты и верхушка горы оценочных формуляров, которая начинается с неприятного социального работника, определяющего, достаточно ли вы бедны, чтобы получить разрешение на скидку при покупке лекарства для ребенка, и заканчивается людьми в костюмах, занимающимися приемом ставок на то, как скоро вы прекратите выплачивать ипотечный кредит.

Критика бюрократии, адекватная нынешней эпохе, должна показать, как все эти нити – финансиализация, насилие, технологии, слияние государственного и частного – сплетаются в единую, самоподдерживающуюся сеть. Процесс финансиализации подразумевал, что увеличивающаяся доля корпоративных доходов обретает форму извлечения прибыли в том или ином виде. Поскольку он мало чем отличается от узаконенного вымогательства, ему сопутствует все возрастающее нагромождение правил и предписаний и все более утонченных, повсеместно проявляющихся угроз применения насилия для того, чтобы обеспечить их соблюдение. Действительно, они настолько вездесущи, что мы уже не осознаем, что нам угрожают, потому что не в состоянии представить, как может быть иначе. В то же время часть доходов от извлечения прибыли передается избранным группам профессионалов или пускается на создание новых кадров корпоративных бюрократов, выполняющих бумажную работу. Это способствует феномену, который я описывал в другой работе: наблюдающемуся в последние десятилетия постоянному росту искусственных, бессмысленных, «бестолковых» профессий вроде координаторов стратегического мышления, консультантов по кадровым ресурсам, юристов-аналитиков и многих других, хотя в глубине души даже люди, сами занимающие такие должности, порой убеждены, что они никак не содействуют развитию компании. В результате такая работа оказывается лишь продолжением базовой логики классовой перестройки, которая началась в 1970–1980-е годы и суть которой выражается в том, что корпоративная бюрократия становится продолжением финансовой системы.

Время от времени вы натываетесь на конкретный пример, расставляющий все по местам. В сентябре 2013 года я посетил чайную фабрику под Марселем, которую в тот момент оккупировали ее рабочие. Их противостояние с местной полицией тянулось уже больше года. Что привело к такой ситуации? Мужчина средних лет, показавший мне фабрику, объяснил, что, хотя формально проблема заключалась в решении о переносе производства в Польшу, где рабочая сила стоит дешевле, главный вопрос состоял в том, как распределять доходы. Самые пожилые и опытные из более чем сотни сотрудников годами экспериментировали, повышая эффективность гигантских машин для упаковки чайных пакетиков. Производительность выросла, а с ней выросли и доходы. Но на что собственники пустили эти деньги? Может, в награду они подняли рабочим зарплату? В прежнюю кейнсианскую эпоху 1950–1960-х годов почти наверняка так бы и произошло. Но не теперь. Может, они наняли больше рабочих и расширили производство? Опять нет. Они взяли в штат менеджеров среднего звена.

Как мне объяснил рабочий, долгие годы на фабрике было только два управляющих: босс и кадровик. Когда прибыль начала увеличиваться, стало появляться все больше людей в костюмах, пока их количество не доросло почти до дюжины. У всех них были мудреные специальности, но дела для них не нашлось, поэтому они в основном слонялись по территории и разглядывали рабочих, вырабатывая критерии для их оценки и составляя планы и отчеты. Потом им пришла в голову мысль перевести производство за рубеж – прежде всего, как мне сказал рабочий, потому, что эта идея была возможностью оправдать задним числом их существование, хотя управленцев, составивших план, можно было бы перевести на более перспективное предприятие. Вскоре рабочие захватили здание, и по его периметру выстроились толпы полицейских из отдела по борьбе с беспорядками.

Иными словами, бюрократии остро не хватает левой критики. Если быть точным, эта книга не представляет собой ее набросок и ни в коей мере не является попыткой разработать общую теорию бюрократии, написать историю бюрократии или даже историю нынешней эпохи тотальной бюрократии. Это сборник эссе, каждое из которых показывает, в каких направлениях левая критика бюрократии может развиваться. В первом речь пойдет о насилии, во втором – о технологиях, в третьем – о рациональности и стоимости.

Главы не образуют единого целого. Наверное, можно сказать, что они посвящены одной теме, но скорее представляют собой попытку начать разговор, который уже давно назрел.

Перед всеми нами стоит проблема. Бюрократические приемы, привычки и мировоззрение поглощают нас. Наша жизнь стала строиться вокруг заполнения бланков. При этом язык, на котором мы должны говорить об этих вещах, не просто не годится для этих целей – вполне вероятно, что он был создан для того, чтобы усугубить трудности. Мы обязаны найти средства, чтобы заявить о том, против чего именно в этом процессе мы возражаем, чтобы честно обсуждать насилие, с которым он сопряжен, но в то же время чтобы понять, что в нем есть привлекательного, что его поддерживает, какие элементы несут в себе возможности для освобождения и создания подлинно свободного общества, какие из них следует считать неизбежной ценой за жизнь в любом сложно устроенном обществе, а какие можно и нужно полностью уничтожить. Если эта книга хоть сколько-нибудь послужит толчком к такому обсуждению, она внесет важный вклад в современную политическую жизнь.

Версия #4

Зверобой создал 6 февраля 2026 23:00:13

Зверобой обновил 6 февраля 2026 23:49:08